

Александр Грин

Трагедия плоскогорья

Суан



Александр Грин

Трагедия плоскогорья Суан

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=623395

Аннотация

«В полной темноте комнаты чиркнула спичка. Свет бросился от стены к стене, ударился в мрак ночных окон и разостлал тени под неуклюжей старинной мебелью.

Человек, спавший на диване, но разбуженный теперь среди ночи нетерпеливым толчком вошедшего, сел, оглаживая рукой заспанное лицо. Остаток сна боролся в нем с внезапной тревогой. Через мгновение он, вскочив на ноги, босиком, в нижнем белье, стоял перед посетителем...»

Содержание

I. Честь имею представить	4
II. Деревья в цвету	13
III. Ассунта	22
IV. Последняя точка Хейля	29
V. Тишина	38
VI. Тинг догоняет Блюма	49
VII. Самая маленькая	59

Александр Степанович Грин

Трагедия плоскогорья Суан

*Кто из вас приклонил к этому ухо, вникнул и
выслушал это для будущего.*

(Исаия, 42, 23)

I. Честь имею представить

В полной темноте комнаты чиркнула спичка. Свет бросился от стены к стене, ударился в мрак ночных окон и разостлал тени под неуклюжей старинной мебелью.

Человек, спавший на диване, но разбуженный теперь среди ночи нетерпеливым толчком вошедшего, сел, оглаживая рукой заспанное лицо. Остаток сна боролся в нем с внезапной тревогой. Через мгновение он, вскочив на ноги, босиком, в нижнем белье, стоял перед посетителем.

Вошедший не снял шляпы; свечка, которую он едва разыскал среди разных инструментов и книг, загроможавших большой стол, плохо освещала его фигуру в просторном, застегнутом на все пуговицы пальто; приподнятый воротник открывал между собой и нахлобученными полями шляпы полоску черных волос; лицо, укутанное снизу до рта

темным шарфом, казалось нарисованным углем на пожелтевшей бумаге. Вошедший смотрел вниз, сжимая и разжимая губы; тот, кто проснулся, спросил:

– Все ли благополучно, Хейль?

– Нет, но не вздрагивайте. У меня простужено горло, ухо...

Два человека нагнулись одновременно друг к другу. Они могли бы говорить громко, но укоренившаяся привычка заставляла произносить слова шепотом. Хозяин комнаты время от времени кивал головой; Хейль говорил быстро, не вынимая рук из карманов; по тону его можно было судить, что он настойчиво убеждает.

Шепот, похожий на унылый шелест ночной аллеи, затих одновременно с появлением на лице Хейля мрачной улыбки; он глубоко вздохнул, заговорив внятным, но все еще пониженным голосом:

– Он спит?

– Да.

– Разбудите же его, Фирс, только без ужасных гримас. Он человек сообразительный.

– Пройдите сюда, – сказал Фирс, шлепая босыми ногами к двери соседней комнаты. – Тем хуже для него, если он не выспался.

Он захватил свечку и ступил на порог. Свет озарил койку, полосатое одеяло и лежавшего под ним, лицом вниз, человека в вязаной шерстяной фуфайке. Левая рука спящего,

оголенная до плеча, была почти сплошь грубо татуирована изображениями якорей, флагов и голых женщин в самых вызывающих положениях. Мерное, отчетливое дыхание уходило в подушку.

– Блюм, – глухо сказал Фирс, подходя к спящему и опуская на его голую руку свою, грязную от кислот. – Блюм, надо вставать.

Дыхание изменилось, стихло, но через мгновение снова наполнило тишину спокойным ритмом. Фирс сильно встряхнул руку, она откинулась, машинально почесала небритую шею, и Блюм сел.

Заспанный, щурясь от света, он пристально смотрел на разбудивших его людей, переводя взгляд с одного на другого. Это был человек средних лет, с круглой, коротко остриженной головой и жилистой шеей. Он не был толстяком, но все в нем казалось круглым, он походил на рисунок человека, умеющего чертить только кривые линии. Круглые глаза, высокие, дугообразные брови, круглый и бледный рот, круглые уши и подбородок, полные, как у женщины, руки, покатый изгиб плеч – все это имело отдаленное сходство с филином, лишенным ушных кисточек.

– Блюм, – сказал Хейль, – чтобы не терять времени, я сообщу вам в двух словах: вам надо уехать.

– Зачем? – коротко зевая, спросил Блюм. Голос у него был тонкий и невыразительный, как у глухих. Не дожидаясь ответа, он потянулся к сапогам, лежавшим возле кровати.

– Мы получили сведения, – сказал Фирс, – что с часу на час дом будет оцеплен и обстрелян – в случае сопротивления.

– Я выйду последним, – заявил Хейль после короткого молчания, во время которого Блюм пристально исподлобья смотрел на него, слегка наклонив голову. – Мне нужно отыскать некоторые депеши. У вас каплет стеарин, Фирс.

– Потому ли, – Блюм одевался с быстротой рабочего, разбуженного последним гудком, – потому ли произошло все это, что я был у сквера?

– Да, – сказал Хейль.

– Улица была пуста, Хейль.

– Полноте ребячиться. Улица видит все.

– Я не люблю ложных тревог, – ответил Блюм. – Если бы я вчера, убегая переулками, оглянулся, то, может быть, не поверил бы вам, но я не оглядывался и не знаю, видел ли меня кто-нибудь.

Хейль хрипло расхохотался.

– Я забыл принести вам газеты. Несколько искаженный, вы все же можете быть узнаны в их описаниях.

Он посмотрел на Фирса. Лицо последнего, принадлежащее к числу тех, которых мы забываем тысячами, вздрагивало от волнения.

– Торопитесь же, – вполголоса крикнул Хейль. Блюм завязывал галстук, – если вы не хотите получить второй, серого цвета и очень твердый.

– Я никогда не тороплюсь, – сказал Блюм, – даже убегая, я делаю это основательно и с полным расчетом. Вчера я убил двух. Осталась сырая, красная грязь. Как мастер – я, по крайней мере, доволен. Позвольте же мне спастись с некоторым комфортом и без усталости, – я заслужил это.

– Вы, – сказал Хейль, – я и он.

– Да, но я не держу вас. Идите – я могу выйти без посторонней помощи.

– До вокзала. – Хейль вынул небольшое письмо. – Вы слезете в городке Суан; там, в двух милях от городской черты, вас убаюкает безопасность. На конверте написан подробный адрес и все нужные указания. Вы любите тишину.

– Давайте это письмо, – сказал Блюм. – А вы?

– Мы увидимся.

– Хорошо. Я надел шляпу.

– Фирс, – Хейль обернулся и увидел вполне одетого Фирса, заряжавшего револьвер, – Фирс, уходите; ваш поезд в другую сторону.

Более он не оборачивался, но слышал, как хлопнула выходная дверь; вздохнул и быстро опустошил ящики письменного стола, сваливая на холодную золу камина вороха писем и тощих брошюр. Прежде, чем поджечь кучу, Хейль подошел к окну, осмотрел темный провал двора; затем сунул догорающую свечку в бумажный арсенал, вспыхнувший бледными языками света, вышел и два раза повернул ключ.

На улице Блюм остановился. Звезды бледнели; вверху,

сквозь черную кисею тьмы, виднелись контуры крыши и труб; холодный, сухой воздух колол щеки, умывая заспанные глаза. Блюм посмотрел на своего спутника; унылый рот Фирса внушал Блюму желание растянуть его пальцами до ушей. Он встрепенулся и зашагал быстрее. Фирс сказал:

– Вы едете?

– Да. И вы.

– Да. Возможно, что мы больше не встретимся.

– В лучшем мире, – захохотал Блюм. В смехе его звучал оскорбительный, едва уловимый оттенок. – В лучшем мире.

– Я не думаю умирать, – сухо сказал Фирс.

– Не думаете? Напрасно. Ведь вы умрете. – Он потянул носом холодный воздух и с наслаждением повторил: – Вы умрете и сгниете по всем правилам химии.

Фирс молчал. Блюм повернулся к нему, заглядывая в лицо.

– Я, может быть, уеду в другую сторону, – сказал он тоном благосклонного обещания. – Вы и пироксилин мне, – как говорят в гостиных, – «не импонируете». Свернем влево.

– Вы шутите, – сердито ответил Фирс, – как фельетонист.

– А вы дуетсяь, как бегемот. Кровавые ребятишки, – громко сказал Блюм, раздражаясь и начиная говорить более, чем хотел, – в вас мало едкости. Вы не настоящая серная кислота. Я кое-что обдумал на этот счет. В вас нет прелести и возвышенности совершенства. Согласитесь, что вы бьете дряблой рукой.

– В таком случае, – объяснитесь, – хмуро сказал Фирс, – нас немного, и мы спаяны общим доверием, колебать это доверие небезопасно.

– Милые шутки, Фирс. Для того, чтобы разрушить подъезд у заслужившего вашу немилость биржевика или убить каплуна в генеральском мундире, вы тратите время, деньги и жизнь. Нежно и добродушно говорю вам: вы – идиоты. Наблюдаю: лопаются красные пузырьки, чинят мостовую, хлопчут стекольщики – и снова пыль и свет, и опоганенное чиханьем солнце, и убивающие злобу цветы, и сладкая каша влюбленных, и вот – опять настроено проклятое фортепиано.

Задышающийся полусшепот Блюма оборвался на последнем слове невольным выкриком. Фирс усмехнулся.

– Я люблю жизнь, – уныло сказал он. – И я поражен, да, Блюм, вы действуете так же, как мы.

– Развлекаюсь. Я мечтаю о тех временах, Фирс, когда мать не осмелится погладить своих детей, а желающий улыбнуться предварительно напишет духовное завещание. Я хочу плюнуть на веселые рты и раздавить их подошвой, так, чтобы на внутренней стороне губ отпечатались зубы.

Рассвет обнажал землю; тихий, холодный свет превращал город в ряды незнакомых домов на странных вымерших улицах. Блюм посмотрел на Фирса так, как будто видел этого человека в первый раз, замолчал и, обогнув площадь, увидел фасад вокзала.

– Прощайте, – сказал он, не подавая руки. – Отстаньте тихонько и незаметно.

Фирс кивнул головой, и они расстались как волки, встретившиеся на скрещенном следу коз. Блюм неторопливо купил билет; физиономия его, вплоть до отхода поезда, сохраняла мирное выражение зажиточного, многосемейного человека.

Когда запели колеса и плавный стук их перешел в однообразное содрогание летящих вагонов, Блюм почувствовал облегчение человека, вырытого из-под земляного обвала. Против него сидел смуглый пассажир в костюме охотника; человек этот, докурив сигару, встал и начал смотреть в окно. У него были задумчивые глаза, он тихо насвистывал простонародную песенку и смотрел.

Стены душили Блюма. Сильное возбуждение, результат минувшей опасности, прошло, но тоскливый осадок требовал движения или рассеяния. Охотник протирает глаз, стараясь удалить соринку, попавшую из паровозной трубы, лицо его болезненно морщилось. Блюм встал.

– Позвольте мне занять у окна ваше место, – сказал он, – я не здешний, и мне хочется посмотреть окрестности.

– Что вам угодно?

– Глоток свежего воздуха.

– Вы видите, что здесь стою я.

– Да, но вы засорили глаз и смотреть все равно не можете.

– Это правда, – охотник скользнул взглядом по лицу Блю-

ма, сел и, улыбаясь, закрыл глаза. Улыбка не относилась к Блюму, – он помнил о нем только один миг, затем мысленно опередил поезд и ушел в себя.

Блюм смотрел. Равнина, дикая и великолепная, лениво дымилась перед ним, медленно кружась под светлой глубиной неба; серый бархат теней и пестрые цветные отливы растилались у рельс высокой помятой ветром травой с яркими венчиками. Он повернул голову, окинул круглыми замкнутыми глазами нежное лицо степи, вспомнил что-то свое, ухнувшее беззвучной темной массой к далекому горизонту, и плюнул в сияющую пустоту.

II. Деревья в цвету

У прохода колючей изгороди стоял негр с белыми волосами, белыми ресницами и белой небритой щетиной; голова его напоминала изображение головы в негативе. Босой, полуголый, в одних грязных штанах из бумажной цветной ткани, он курил трубку, смотрел старческими глазами на каменную тропу, бегущую вверх, среди агавы и кактусов, пел и думал.

Отвесные лучи солнца плавили воздух. Пение, похожее на визг токарного резца по железу, обрывалось с каждой затяжкой, возобновляясь, когда свежий клуб дыма вылетал из сморщенных губ. Он думал, может быть, о болотах Африки, может быть, о сапогах Тинга, что валяются у входа на расстоянии двух аршин друг от друга, – их надо еще пойти и убрать, а прежде – покурить хорошенько.

Всадник, подъезжавший к изгороди, лишил негра спокойствия, песни и очередной затяжки. Крупная городская лошадь подвигалась неровной рысью; человек, сидевший на ней, подскакивал в седле более, чем принято у опытных ездоков. Негр молча снял шляпу, сверкая оскаленными зубами.

Приезжий натянул поводья, остановился и тяжело слез. Старик подошел к лошади. Блюм сказал:

– Это дом Тинга?

– Тинга, – подобострастно сказал негр, – но Тинг уехал, господин мой; он проедет через Суан. Я жду его, добрейший и превосходнейший господин. Тинг и жена Тинга.

– Все-таки возьми лошадь, – сказал Блюм. – Я буду ждать, так как я приехал по делу. А пока укажи вход.

– Я слушаю вас, великолепнейший господин; идите сюда. Тинг заедет в Суан, там жена Тинга. Он возьмет жену Тинга, и оба они приедут на одной лошади, потому что жена Тинга легкая, очень легкая жена, справедливейший и высокочтимый господин мой, он носит ее одной рукой.

– Неужели? – насмешливо произнес Блюм. – Может быть, он носит ее в кармане, старик?

– Нет, – сказал негр, уродливо хохоча и кланяясь. – Тинг кладет в карман руки. Добрый – он кладет руки в карман; сердитый – он тоже кладет руки в карман; когда спит – он не кладет руки в карман.

Блюм шел за ним в полуденных, зеленых сумерках высоких деревьев по узкой тропе, изборожденной бугристыми узлами корней; свет падал на его сапоги, не трогая лица, и пятнами кропил землю. Негр болтал, не останавливаясь, всякий вздор; слушая его, можно было подумать, что он сердечно расположен к приезжему. Но черный морщинистый рот столько же отвечал, сколько и спрашивал. На протяжении десяти сажен старик знал, что Блюма зовут Гергес, что он издавна и Тингу не родственник. Это ему не помешало снова залиться соловьем о Тинге и «жене Тинга»; слово «Тинг»

падало с его языка чаще чем «Иисус» с языка монаха.

– Тинг молодой, высокий. Тинг ходит и громко свистит; тогда Ассунта кладет ему в рот самый маленький палец, и он не свистит. Тинг ездит на охоту один. Тинг никогда не поет, он говорит только: «трум-трум», но губы его закрыты. Тинг не кричит: «Ассунта», но она слышит его и говорит: «Я пришла». Он сердитый и добрый, как захочет, а гостям дает одеяло.

Имя это, похожее на звон меди, он произносил: «Тсинг». Тень кончилась, блеснул свет; прямо из сверкающих груд темной листвы забелели осыпанные душистым снегом апельсинные и персиковые деревья; глухой, томительный аромат их наполнял легкие сладким оцепенением. Полудикие дремлющие цветы пестрели в траве и никли, обожженные зноем.

Блюм осмотрелся. Невдалеке стоял дом – низкое, длинное здание с одноэтажной надстройкой и крышей из древесной коры, – дом, срубленный полстолетия назад руками переселенцев, – грубый выразительный след железных людей, избородивших пустыню с карабином за плечами. Старик отворил дверь; затем серебряная шерсть его накрылась шляпой и оставила приезжего в одиночестве, с кучей самых отборных пожеланий отдохнуть и не скучать, и не сердиться за то, что бедный старый негр пойдет убрать лошадь.

Блюм внимательно разглядывал помещение. Земляной пол, бревенчатые стены, отполированные тряпками и годами, убранные сухими листьями, похожими на лакированные

зеленые веера; низкая кровать с подушкой и меховым одеялом; большой некрашенный стол; несколько книг, исписанная бумага, соломенные занавеси двух больших окон, жесткие стулья, два ружья, повешенные над изголовьем, – все это смотрело на Блюма убедительным, прихотливым сочетанием земли с кружевной наволочкой, ружейного ствола – с печатной страницей, бревен – с туалетным зеркалом, дикости – с мыслью, грубой простоты – с присутствием женщины. Потолок, покрашенный желтой краской, казался освещенным снизу. Занавеси были спущены, и солнце боролось с ними, наполняя комнату красноватым туманом, прорезанным иглами лучей, нашедших щели.

Блюм потер руки, сел на кровать, встал, приподнял занавесь и выглянул. Каменистая почва с разбросанной по ней шерстью жестких, колючих трав круто обрывалась шагах в тридцати от дома ломаным убегающим вправо и влево контуром; на фоне голубого провала покачивались сухие стебли – граница возвышенного плато, шестисотсаженного углубления земной коры, затянутого прозрачным туманом воздуха. Всмотревшись, Блюм различил внизу кусок светлой проволоки – это была река.

Он тоскливо зевнул и опустил занавесь, подергивая плечами, как связанный. Конечно, он был свободен, но где-то разминались руки, назначенные поймать Блюма; здоров, но с веревкой на шее; спокоен – жалким суррогатом спокойствия – привычкой к ровному страху. Он сел на кровать, обдумыв-

вая будущее, и думал не фразами, а отрывками представлений, взаимно стирающих друг о друга мгновенную свою яркость. Опустив голову, он видел лишь микроскопические, красные точки, медленно ползающие в туманных сетях улиц далекого города. И эта перспектива исчезла; мерное движение точек соединилось с однообразным стуком идущего к Суану поезда; воображаемые вагоны толклись на одном месте, но с быстротой паровоза близились тревога и ужас, взмахивая темными крыльями над девственной равниной, цепенеющей в остром зное.

Беспокойный толчок сердца заставил Блюма вскочить, сделать несколько шагов и сесть снова. Дьявольские видения преследовали его. В Суане стучат копыта рослых жандармских лошадей. Тупой звук подков. Блестящие прямые сабли. Белая пыль. Красные мундиры, однообразные лица – густой солнечный лак обливает все; отряд двигается уверенной, твердой рысью, вытягивается гуськом, толпится, делится на отдельных всадников. Копыта! Блюм видел их так же близко, как свои руки; они тупо щелкали перед самым его лицом; все ближе, с выцветшей шерстью лодыжек, покрытые трещинами, копыта равнодушных пожилых лошадей.

Он встал, не имея сил одолеть страх, вытер холодный пот и застонал от ярости. Красноватый свет занавесей пылил воздух. Блюм потрясал руками, стискивая кулаки, как будто надеялся поймать предательскую тишину, смять ее, разбить в тысячи кусков с блаженным, облегчающим грохотом. При-

падок утомил его; вялый, осунувшийся, опустился он на кровать Тинга с злобным намерением уснуть наперекор страху. В продолжение нескольких минут состояние тяжелой дремоты обрывалось и рассеивалось, переходя в бесплодную работу сознания; наконец густой флер окутал глаза, и Блюм уснул.

Прошел час; голова негра показывалась в дверях, скалила зубы и исчезала. Лицо Блюма, багровое от духоты, металось на измятой подушке; изредка он стонал; странные кошмары, полные благоухающей зелени, гримас, цветов с глазами птиц, света, кровавых пятен, белых, точно замороженных губ душили его, мешаясь с полусознанием действительности. Вскрикивая, он открывал глаза, тупо встречал ими красноватые сумерки и цепенел снова в удушливом забытьи, — потный, разморенный зноем и тишиной.

Солнце торопилось к закату; ветер, налетая с обрыва, отдувал занавесь, и в мгновенную, опадающую щель ее виднелись широкие смолистые листья деревьев, росших за окнами. Блюм проснулся, вскочил, глубоко вдыхая онемевшими легкими спертый воздух, и осмотрелся. То же безмолвие окружало его; прежнее красноватое освещение лежало на всех предметах, но теперь стены и одуряющий, пристальный свет штор, и мебель, и тишина таили в себе зловещую, утонченную внимательность, остроту человеческих глаз. Блюм расстегнул воротник рубашки, вытер платком мокрую грудь, отвел рукой штору и выглянул. На черте обрыва маячили,

покачиваясь, сухие стебли; глубокий туман пропасти и светлая проволока реки блестели оранжевыми тенями угасающего дня, и в этом тоже было что-то зловещее. Блюм вздрогнул, с отвращением опустил шторы, надел шляпу и вышел.

За дверью никого не было. Он двинулся по тропам сада, в душистой прохладе осыпанных белизной цвета высоких крон; живой снег бесчисленных, в глубине розовых, венчиков гудел миллионами насекомых; каскады остроконечной, иглистой, круглой, гроздьеподобной, резной листвы свешивались над головой и впереди узорами таинственных светлых сумерек; в конце тропы, за изгородью, ослепительно белела вечерней пылью каменистая, бегущая на холмы среди груд камней, дорога в Суан. Блюм вышел к ней, остановился, посмотрел влево и вправо: пустыня, поросшая кактусами. Потом резко повернул голову, прислушиваясь к ритмическим отголоскам, похожим на стук пальцами о крышку стола.

Через минуту Блюм мог с уверенностью различить твердую рысь лошади. Лицо его, обращенное к повороту дороги, еле намеченному кустами и выбоинами, осталось неподвижным, за исключением зрачков, сузившихся до объема маковых зерен. Сначала показалась голова лошади, затем шляпа и лицо всадника, а между плеч его – другое лицо. Женщина сидела впереди, откинув голову на грудь Тинга; левая рука его придерживала Ассунту спереди осторожным напряжением кисти, правая встряхивала поводья; он смотрел вниз и,

по-видимому, говорил что-то, так как лицо женщины таинственно улыбалось.

Под гору лошадь шла шагом; верховая группа мерно колыбалась на глазах Блюма; на лицо Тинга и его жены падали отлогие, вечерние лучи солнца, тающего на горизонте. Блюм снял шляпу и поклонился, испытывая мгновенное, но тяжелое замешательство. Тинг натянул поводья.

– Ассунта, – сказал он, окидывая Блюма коротким взглядом, – иди в дом, я не задержусь здесь.

– Уйду, я устала, – она, по-видимому, торопилась и спрыгнула на землю; ухватившись руками за гриву лошади, она ни разу не подняла глаз на Блюма и, оставив седло, прошла мимо незнакомца, наклонив голову в ответ на его вторичный поклон. Он успел рассмотреть ее, но уже через минуту затруднился бы определить, темные у нее волосы или светлые: так быстро она скрылась. Лицо ее отражало ясность и чистоту молодости; небольшое стройное тело, избалованное выражение рта, – все в ней носило печать свободной простоты, не лишенной, однако, некоторой застенчивости. Тинг улыбнулся.

– Я тоже узнал вас, – сказал Блюм, ошибочно толкуя эту улыбку, – и должен извиниться. У меня много крови, я задыхаюсь в вагонах и буду задыхаться до тех пор, пока правительство не устроит для полнокровных какие-нибудь холодильники.

– Вы говорите, – удивленно произнес Тинг, – что вы тоже

узнали меня. Но я, кажется, вас не видал раньше.

– Нет, – возразил Блюм, – сегодня утром в вагоне. Вы засорили глаз.

– Так. – Тинг рассеянно обернулся, ища глазами Ассунту. – Но что же вы имеете мне сказать?

– Пусть говорят другие, – вздохнул Блюм, вынимая письмо Хейля. – Это, кажется, ваш бывший или настоящий знакомец, Хейль. Прочтите, пожалуйста.

Тинг разорвал конверт. Пока он читал, Блюм чистил ногти иглой терновника – манера, заимствованная у Хейля, – поглядывая исподлобья на сосредоточенное лицо читающего. Темнело. Тинг сунул письмо в карман.

– Вы – господин Гергес, – а я – Тинг, – сказал он. – Здесь все к вашим услугам. Хейль пишет, что вам нужен приют дня на три. Оставайтесь. Кто вы сверх Гергеса, не мое дело. Пожалуйста. Тогда вот это письмо, – Тинг снял шляпу и вынул из нее небольшой пакет, – будет, конечно, вам; я получил его сегодня в Суане для передачи Гергесу.

Блюм с неудовольствием протянул руку; письмо это означало, что Хейль вовсе не намерен дать ему отдых.

Затем оба постояли с минуту, молча разглядывая друг друга; по неестественному напряжению лиц южный вечер прочел взаимную тягость и антипатию.

III. Ассунта

Веранда, затянутая черным бархатом воздуха, напоминала освещенный плот в океане, ночью, когда волнение дремлет, а слух болезненно ловит малейший плеск влаги. На длинном столе горела медная старинная лампа, свет ее едва достигал ближайших ветвей, листья их тянулись из мрака призрачными посеребренными очертаниями. Негр собрал остатки ужина и ушел, шаркая кожаными сандалиями; благодаря цвету кожи, он исчез за чертой света мгновенно, точно растаял, и только секунду-другую можно было наблюдать, как белая посуда в его руках, потеряв вес, самостоятельно чертит воздух.

Тинг сидел лицом к саду и пил кларет¹. Блюм-Гергес помещался против него, глотая водку из плетеного охотничьего стакана. И совсем близко к Тингу, почти касаясь его головы закутанным шалью плечом, стояла, прислонившись к стене, Ассунта.

– Я был нотариусом, – придиричиво сказал Блюм. Охмелев, он чувствовал почти всегда непреодолимое желание ломать комедию или балансировать на канате осторожной, веселой дерзости. – Вы, честное слово, не удивляйтесь этому. Битый час мы говорили о новых постройках в Суане, и вы, пожа-

¹ Кларет – сорт вина.

луй, могли принять меня за проворовавшегося подрядчика. Я был нотариусом. Жестокие наследники одного состояния строили, видите ли, козни против прелестнейшей из всех девушек в мире; а она, надо вам сказать, любила меня со всем пылом молодости. По закону все состояние – а состояние это равнялось десяти миллионам – должно было перейти к ней. Меня просили, мне грозили, требовали, чтобы я это завещание уничтожил, а я отказался. Тут ввязались министры, какие-то подставные лица, и я подвергся преследованию. Убедив, я сжег свой дом.

Он выкладывал эти бредни, не улыбаясь, с чувством сокрушения в голосе. Широко открытые глаза Ассунты смотрели на него с недоумением, замаскированным слабой улыбкой.

– Я знал Хейля, – сказал Тинг, стараясь переменить разговор, – он напечатал мою статью в прошлом году. Он ведь служит в редакции «Знамя Юга», а зимой, во время последних восстаний, был военным корреспондентом.

– Политическую статью, – полуутвердительно кивнул Блюм. – Я знаю, вы требовали уничтожения налога на драгоценности. Эта мера правительства не по вкусу женщинам; да, я вас понимаю.

Невозможно было понять, смеется или серьезно говорит этот человек с круглым, дрожащим ртом, неподвижными глазами и жирным закруглением плеч.

– Тинг, – сказала Ассунта, и улыбка ее стала определен-

нее, – господин Гергес хочет сказать, конечно, что ты не занимаешься пустяками.

Блюм поднял голову; взгляд ее остановился на нем, спокойный, как всегда; взгляд, рождающий глухую тоску. Он почувствовал мягкий отпор и внутренне подобрался, намереваясь изменить тактику.

– Политика, – равнодушно произнес Тинг, – это не мое дело. Я человек свободный. Нет, Гергес, я написал о серебряных рудниках. Там много любопытного.

Он посмотрел в лицо Блюма; оно выражало преувеличенное внимание с расчетом на откровенность.

– Да, – продолжал Тинг, – вы, конечно, слышали об этих рудниках. Там составляются и проигрываются состояния, вспыхивает резня, разыгрываются уголовные драмы. Я описал все это. Хейль исправлял мою рукопись, но это неудивительно, – я учился писать в лесу, столом мне служило седло, а уроками – беззубая воркотня бродяги Хименса, когда он бывал в хорошем расположении духа.

– Тинг – сын леса, – сказала Ассунта, – он думает о нем постоянно.

– Бродячая жизнь, – торжественно произнес Блюм, – вы испытали ее?

– Я? – Тинг рассмеялся. – Вы знаете, я здесь живу только ради Ассунты.

– Он посмотрел на жену, как бы спрашивая: так ли это? На что она ответила кивком головы. – Родителей я не пом-

ню, меня воспитывал и таскал за собой Хименс. В засуху мы охотились, в дожди – тоже; охотились на юге и севере, западе и востоке. А раз я был в партии золотоискателей и не совсем несчастливо. Я жил так до двадцати четырех лет.

– Придет время, – угрюмо произнес Блюм, – когда исчезнут леса; их выжгут люди, ненавидящие природу. Она лжет.

– Или говорит правду, смотря по ушам, в которых гудит лесной ветер, – возразил Тинг, инстинктивно угадывая, что чем-то задел Гергеса. От лица гостя веяло непонятым, тяжелым сопротивлением. Тинг продолжал с некоторым задором:

– Вот моя жизнь, если это вам интересно. Я иногда пописываю, но смертельно хочется мне изложить историю знаменитых охотников. Я знал Эйклера, спавшего под одеялом из скальпов; Беленького Бизона, работавшего в схватках дубиной, потому что, как говорил он, «грешно проливать кровь»; Сенегду, убившего пятьдесят гризли²; Бебиль Висельник учил меня подражать крику птиц; Нежный Артур, прозванный так потому, что происходил из знатного семейства, лежал умирающий в моем шалаше и выздоровел, когда я сказал, что отыскал тайник Эноха, где были планы бобровых озерков, известных только ему.

Глаза Тинга светились; увлеченный воспоминаниями, он встал и подошел к решетке веранды. Блюм, красный от спирта, смотрел на Ассунту; что-то копилось в его мозгу, укла-

² Гризли – крупный американский серый медведь.

дывалось и ускользало; входило и выходило, ворочалось и ожидало конечного разрешения; эта работа мысли походила на старание человека попасть острием иглы в острие бритвы.

– А что вы любите? – неожиданно спросил он таким тоном, как будто ответ мог помочь решить известную лишь ему сложную математическую задачу. – Я полагаю, что этот вопрос нескромен, но мы ведь разговорились.

В последних его словах дрогнул еле заметный насмешливый оттенок.

– Ну, что же, – помолчав, сказал Тинг, – я могу вам ответить. Пожалуй – все. Лес, пустыню, парусные суда, опасность, драгоценные камни, удачный выстрел, красивую песню.

– А вы, прелестная Ассунта, – льстиво осклабился Блюм, – вы тоже? Между нами говоря, жизнь в городах куда веселее. Женщины вашего возраста делают там себе карьеру, это в моде; честолюбие, благотворительность, влияние на политических деятелей – это у них считается большим лакомством. Вы здесь затеряны и проскучаете. Как вы живете?

– Я... не знаю, – сказала молодая женщина и засмеялась; краска залила ее нежное лицо, растаяв у маленьких ушей. Она помолчала, взглядывая из-под опущенных ресниц на Гергеса. – Я очень люблю вставать рано утром, когда еще холодно, – несмело произнесла она.

Блюм громко захохотал и поперхнулся. Сиплый кашель его бросился в глубину ночи; брезгливая тишина медленно

стряхнула эти звуки, чуждые ее сну.

– Жизнь ее благословенна, – сухо сказал Тинг, – а значение этой жизни, я полагаю, выше нашего понимания.

Блюм встал.

– Я пойду спать, – заявил он, зевая и щурясь. – Негр приготовил мне отличную постель вверху, под крышей. Мой пол – ваш потолок, Тинг. Спокойной ночи.

Он двинулся, грузно передвигая ногами, и скрылся в темноте. Тинг посмотрел ему вслед, задумчиво посвистал и обернулся к Ассунте. Один и тот же вопрос был в их глазах.

– Кто он? – спросила Ассунта.

– Я это же спрашиваю у себя, – сказал Тинг, – и не нахожу ответа.

Блюм остановился за углом здания; он слышал последние слова Тинга и ждал, не будет ли чего нового. Слепящий мрак окружал его; сердце билось тоскливо и беспокойно. За углом лежал отблеск света; слабые, но ясные звуки голосов выходили оттуда – голоса Ассунты и Тинга.

– Вот это я прочитаю тебе, – расслышал Блюм. – Для стихов это слишком слабо, и нет правильности, но, Ассунта, я ехал сегодня в поезде, и стук колес твердил мне отрывочные слова; я повторял их, пока не запомнил.

Блюм насторожил уши. Короткая тишина оборвалась немного изменившимся голосом Тинга:

В мгле рассвета побледнел ясный ореол звезд,

Сон тревожный, покой напрасный трудовых гнезд
Свергнут небом, где тени утра плывут в зенит,
Ты проснулась – и лес дымит, земля звенит;
Дай мне руку твою, ребенок тенистых круч;
Воздух кроток, твой голос звонок, а день певуч.
Там, где в зное лежит пустынный, глухой Суан,
Я заклятью предаю небо четырех стран;
Бархат тени и ковры света в заревой час,
Звезды ночи и поля хлеба – для твоих глаз.
Им, невинным близнецам смеха, лучам твоим,
Им, зовущим, как печаль эха, и только им,
Тьмой завешенный – улыбался голубой край
Там, где бешеный ад смеялся и рыдал рай.

Он кончил. Блюм медленно повторил про себя несколько строк, оставшихся в его памяти, сопровождая каждое выражение циническими ругательствами, клейкими вонючими словами публичных домов; отвратительными искажениями, бросившими на его лицо невидимые в темноте складки усталой злобы...

Разговор стал тише, отрывистее; наконец, он услышал сонный и совсем, совсем другой, чем при нем, голос Ассунты:

– Тингушок, возьми меня на ручки и отнеси спать.

IV. Последняя точка Хейля

Расширение лесной медленно текущей реки оканчивалось грудой серых камней, вымытых из почвы разливами и дождями. Человек, сидевший на камнях, посмотрел вверх с ощущением, что он находится в глубоком провале. Меж выпуклостей стволов реял лесной сумрак; пышные болотные папоротники скрывали очертание берегов; середина воды блестела густым светом, ограниченным тенью, падавшей на реку от непроницаемой листвы огромных деревьев. У ног Блюма мокли на круглых с загнутыми краями листьях белые и фиолетовые водяные цветы, испещренные красноватыми жилками; от них шел тонкий сырой аромат болота, сладковатый и острый.

Блюм посмотрел на часы; девственный покой леса превращал их тиканье в громкий, суетливый шепот нетерпеливого ожидания. Он спрятал их, продолжая кусать губы и смотреть на воду; затем встал, походил немного, стараясь не удаляться от берега, возвратился и сел на прежнее место.

Прошло несколько времени. Маленькое голубое пятно, только что замеченное им слева, пропадало и показывалось раз двадцать, приближаясь вместе с неровным потрескиванием валежника; наконец, бритые губы раздвинулись в сухую улыбку, – улыбку Хейля; он шел к Блюму с протянутой рукой, разглядывая его еще издали.

Хейль был одет в праздничный степенный костюм зажиточного скотовода или хозяина мастерской: толстые ботинки из желтой кожи, светлые брюки и куртка, пестрый жилет, голубой с белыми горошками пластрон³ и шляпа с низко опущенными полями. Он, видимо, недавно покинул седло, так как от него разило смешанным запахом одеколona и лошадиного пота.

– Я шел берегом, пробираясь сквозь чащу, – сказал Хейль, – лошадь привязана за полмили отсюда; невозможно было вести ее в этой труппе. Как ваше здоровье? Вы, кажется, отдохнули здесь. Мое письмо, конечно, вами получено.

– Я здоров, с вашего позволения. – Блюм сел в траву, подобрав ноги. Хейль продолжал стоять. – Письмо, план этой жилой местности и милостивые ваши инструкции я получил, потому-то и имею счастье взирать на вашу мужественную осанку.

Он проговорил это своим обычным, тонким, ворчащим голосом, похожим на смешанные звуки женской брани и жиканье точильного камня.

– Вы не в духе, – сказал Хейль, – высморкайтесь, это от насморка. Как живет Тинг? Я видел его полгода назад, а жену его не встречал ни разу. Довольны ли вы их отношением?

– Я? – удивленно спросил Блюм. – Я плачу от благородства. Я благословляю их. Я у них, как родной, – нет, – вне-

³ Пластрон – туго накрахмаленная грудь мужской верхней сорочки.

запно бросая тон кривляющегося актера прибавил Блюм, – в самом деле, и теперь вы можете мне поверить, я очень люблю их.

Хейль рассеянно кивнул головой, присел рядом с Блюмом, бегло осмотрел речку и задумался, всасывая ртом нижнюю губу. Молчание длилось минут пять; посторонний наблюдатель мог бы смело принять их за людей, размышляющих о способе переправиться на другой берег.

– Ваше положение, – сказал, наконец, Хейль, – очень затруднительно. Вам надо исчезнуть совсем, отправиться в другие края. Там вы можете быть полезны. Я точно обдумал весь маршрут и предусмотрел все. Согласны вы ехать?

Блюм не пошевелил бровью, как будто этот вопрос относился к совершенно другому человеку. Он молчал, невольно молчал и Хейль. Несколько времени они смотрели друг другу в глаза с таким вниманием, словно ими были исчерпаны все разговорные темы; Хейль, задетый непонятым для него молчанием Блюма, отвернулся, рассматривая свесившуюся над головой ткань цветущих выюнков, и заметил вслух, что роскошные паразиты напоминают ему, Хейлю, блестящих женщин.

– Нет, – сказал Блюм и бросил в воду небольшой камень, пристально следя за исчезающими кругами волнения. – Я не поеду.

– Не-ет... Но у вас должны быть серьезные причины для этого.

– Да, да, – Блюм поспешно обернулся к Хейлю, проговорив рассудительным, деловым тоном: – Я хочу от вас отделаться, Хейль, от вас и ваших.

– Какой дьявол, – закричал Хейль, покраснев и вскакивая, – вкладывает в ваш мозг эти дерзкие шутки!.. Вы ренегат, что ли?..

– Я преступник, – тихо сказал Блюм, – профессиональный преступник. Мне, собственно говоря, не место у вас.

– Да, – возразил изумленный Хейль, овладевая собой и стараясь придать конфликту тон простого спора, – но вы пришли к нам, вы сделали два блестящих дела, третье предполагалось поручить вам за тысячу миль отсюда, а теперь что?

– Да я не хочу, поняли? – Блюм делался все грубее, казалось, сдержанность Хейля раздражала его. – Я пришел, и я ушел; посвистите в кулак и поищите меня в календаре, там мое имя. Как было дело? Вы помогали бежать одному из ваших, я сидел с ним в одной камере и бежал за компанию; признаться, скорее от скуки, чем от большой надобности. Ну-с... вы дали мне переночевать, укрыли меня. Что было мне делать дальше? Конечно, выжидать удобного случая устроиться посolidнее. Затем вы решили, что я – человек отчаянный, и предложили мне потрошить людей хорошо упитанных, из высшего общества. Мог ли я отказать вам в такой безделке, – я, которого смерть лизала в лицо чаще, чем сука лижет щенят. Вы меня кормили, одевали и обували,

возили меня из города в город на манер багажного сундука, пичкали чахоточными брошюрами и памфлетами, кричали мне в одно ухо «анархия», в другое – «жандармы!», скормили полдесятка ученых книг. Так, я, например, знаю теперь, что вода состоит из азота и кислорода, а порох изобретен китайцами. – Он приостановился и посмотрел на Хейля взглядом продажной женщины. – Вы мне благоволили. Что ж... и дуракам свойственно ошибаться.

Сильный гнев блеснул в широко раскрытых глазах Хейля; он сделал было шаг к Блюму, но удержался, потому что уяснил положение. Отпущенный Блюм, правда, мог быть опасен, так как знал многое, но и удерживать его теперь не было никакого смысла.

– Не блещете вы, однако, – глухо сказал он. – Значит, игра в открытую. Я поражен, да, я поражен, взбешен и одурачен. Оставим это. Что вы намерены теперь делать?

– Пакости, – захохотал Блюм, раскачиваясь из стороны в сторону. – Вы бьете все мимо цели, все мимо цели, милейший. Я не одобряю ваших теорий, – они слишком добродетельны, как ужимочки старой девы. Вы натолкнули меня на гениальнейшее открытие, превосходящее заслуги Христофора Колумба. Моя биография тоже участвовала в этом плане.

Хейль молчал.

– Моя биография! – крикнул Блюм. – Вы не слышите, что ли? Она укладывается в одной строке: публичный дом, ис-

правительственная колония, тюрьма, каторга. В публичном доме я родился и воспринял святое крещение. Остальное не требует пояснений. Подробности: зуботычины, пощечины, избиение до полусмерти, плети, удары в голову ключом, рукояткою револьвера. Пощечины делятся на четыре сорта. Сорт первый: пощечина звонкая. От нее гудит в голове, и все качается, а щека горит. Сорт второй – расчетливая: концами пальцев в висок, стараясь задеть по глазу; режущая боль. Сорт третий – с начинкой: разбивает в кровь нос и расшатывает зубы. Сорт четвертый: пощечина клейкая, – дается липкой рукой шпиона; не больно, но целый день лицо загажено чем-то сырм.

– Мне нет дела до вашей почтенной биографии, – сухо сказал Хейль. – Ведь мы расстаемся?

– Непременно. – Крупное лицо Блюма покрылось красными пятнами. – Но вы уйдете с сознанием, что все вы – мальчишки передо мной. Что нужно делать на земле?

Он порылся в карманах, вытащил смятую, засаленную бумажку и начал читать с тупым самодовольством простолюдина, научившегося водить пером:

«Сочинение Блюма. О людях. Следует убивать всех, которые веселые от рождения. Имеющие пристрастие к чему-либо должны быть уничтожены. Все, которые имеют зацепку в жизни, должны быть убиты. Следует узнать про всех и, сообразно наблюдению, убивать. Без различия пола, возраста и происхождения».

Он поднял голову, немного смущенный непривычным для

него актом, как поэт, прочитавший первое свое стихотворение, сложил бумажку и вопросительно рассмеялся. Хейль внимательно смотрел на него, – нечто любопытное послышалось ему в запутанных словах Блюма.

– Что же, – насмешливо спросил он, – синодик⁴ этот придуман вами?

– Я сообразил это, – тихо сказал Блюм. – Вы кончили мою мысль. Не стоит убивать только тех, кто был бы рад этому. Это решено мной вчера, до тех пор все было не совсем ясно.

– Почему?

– Так. – Тусклые глаза Блюма сощурились и остановились на Хейле. – Разве дело в упитанных каплунах или генералах? Нет. Что же, вы думаете, я не найду единомышленников? Столько же, сколько в лесу осиных гнезд. Но я не могу объяснить вам самого главного, – таинственно добавил он, – потому что... то есть почему именно это нужно. Здесь, видите ли, приходится употреблять слова, к которым я не привык.

– Почтенный убийца, – хладнокровно возразил Хейль, – я, кажется, вас понимаю. Но кто же останется на земле?

– Горсть бешеных! – хрипло вскричал Блюм, уводя голову в плечи. – Они будут хлопать успокоенными глазами и нежно кусать друг друга острыми зубками. Иначе невозможно.

– Вы сумасшедший, – коротко объявил Хейль. – То, что вы называете «зацепкой», есть почти у каждого человека.

⁴ Синодик – поминальная книжка.

Блюм вдруг поднял брови и засопел, словно его осенила какая-то новая мысль. Но через секунду лицо его сделалось прежним, непроницаемым в обычной своей тусклой бледности.

– И у вас? – пристально спросил он.

– Конечно. – Яркое желание бросить в отместку Блюму что-нибудь завидное для последнего лишило Хейля сообразительности. – Я честолюбив, люблю опасность, хотя и презираю ее; недурной журналист, и – поверьте – наслаждаться блаженством жизни, сидя на ящике с динамитом, – очень тонкое, но не всякому доступное наслаждение. Мы – не проводники смерти.

– У вас есть зацепка, – утвердительно сказал Блюм.

Хейль смерил его глазами.

– А еще что хотели вы сказать этим?

– Ничего, – коротко возразил Блюм, – я только говорю, что и у вас есть зацепка.

– Вот что, – Хейль проговорил это медленно и внушительно: – Бойтесь повредить нам болтовней или доносами: вы – тоже кандидат виселицы. Я сказал, – ставлю точку и ухожу. Кланяйтесь Тингу. Прощайте.

Он повернулся и стал удаляться спиной к противнику. Блюм шагнул вслед за ним, протянул револьвер к затылку Хейля, и гулкий удар пролетел в тишине леса вместе с небольшим белым клубком.

Хейль, не оборачиваясь, приподнял руки, но тотчас же

опустил их, круто взмахнул головой и упал плашмя, лицом вниз, без крика и судорог. Блюм отскочил в сторону, нервно провел рукой по лицу, затем, вздрагивая от острого холодка в груди, подошел к труп, секунду простоял неподвижно и молча присел на корточки, рассматривая вспухшую под черными волосами небольшую, сочащуюся кровью рану.

– Чисто и тщательно сделанный опыт, – пробормотал он. – Револьвер этой системы бьет удивительно хорошо.

Он взял мертвого за безжизненные, еще теплые ноги и потащил к реке. Голова Хейля ползла по земле бледным лицом, моталась, ворочалась среди корней, путалась волосами в папоротниках. Блюм набрал камней, погрузил их в карманы Хейля и, беспрестанно оборачиваясь, столкнул труп в освещенную темно-зеленую воду.

Раздался глухой плеск, волнение закачало водоросли и стихло. Спящее лицо Хейля проплыло в уровне воды шагов десять, сузилось и опустилось на дно.

V. Тишина

Блюм проснулся в совершенной темноте ночи, мгновенно припомнил все, обдуманное еще днем, после того, как бледное лицо Хейля потонуло в лесной воде, и, не зажигая огня, стал одеваться с привычной быстротой человека, обладающего глазами кошки и ногами мышонка. Он натянул сапоги, тщательно застегнул жилет, нахлобучил плотнее шляпу, шею обмотал шарфом. Все это походило на приготовления к отъезду или к тихой прогулке подозрительного характера. Затем, все не зажигая огня, вынул карманные часы, снял круглое стекло их острием складного ножа и ощупал циферблат пальцами, – стрелки показывали час ночи.

Он постоял несколько минут в глубоком раздумьи, резко улыбаясь невидимым носкам сапог, подошел к окну и долго напряженно слушал стрекотанье цикад. Сердце тишины билось в его душе; тьма, униженная роскошным дождем звезд, приближала свои глаза к бессонным глазам Блюма, сном казался минувший день, мрак – вечностью. Это была вторая ночь гостя; настроенный торжественно и тревожно, как доктор, засучивший рукава для небольшой, но серьезной операции, Блюм отворил дверь и стал спускаться по лестнице. На это он употребил минут десять, делая каждый шаг лишь после того, как исчезало даже впечатление прикосновения ноги к оставленной позади ступеньке. Выходная дверь открыва-

лась в сад. Он прикоснулся к ней легче воздуха, увеличивая приоткрытую щель с медленностью волокиты, проникающе-го к любовнице через спальню ее мужа, и так же медленно, осторожно ступил на землю.

Влажный мрак поглотил его; он исчез в нем, растаял, слился с тьмой и двигался, как лунатик, протягивая вперед руки, но зорко улавливая оттенки тьмы, намечавшие ствол дерева или угол дома. Через несколько минут слабо заржала лошадь, его лошадь, привязанная негром к столбу небольшого деревянного заграждения, где стояли две лошади Тинга. Блюм гладил крутую шею; теплая кожа животного скользила под его рукой; присутствие живого существа наполнило человека жесткой уверенностью. Блюм размотал коновязь, расправил захваченную узду, взнуздal лошадь и потянул ее за собой.

Теперь, обеспеченный на случай тревоги, он двинулся быстрее, шел тверже. Копыта глухо переступали за его спиной. Блюм пересек пустое, неогороженное пространство, заворачивая со стороны обрыва; миновав второй угол здания, он привязал лошадь к кустарнику, прополз на четвереньках вперед, выступил головой из-за третьего угла и припал к земле, пораженный тяжелым хлестким ударом неожиданности.

Из окна бежал свет; косая бледная полоса его терялась в сумрачном узоре листвы. Тинг, по-видимому, не спал; причина этого была понятна Блюму не более, чем воробью зеркало, так как, по собственным словам Тинга, он ложился не

позднее двенадцати. С минуту Блюм оставался неподвижен, тоска грызла его, всевозможные, один другого отчаяннее и нелепее, планы боролись друг с другом в бешено заработавшей голове. Он наскоро пересмотрел их, отбросил все, решил выждать и пополз вдоль стены к полосе света.

Чем более приближался он, тем яснее и мучительнее касался его ушей негромкий перелив разговора. Под окном он остановился, присел на корточки и переложил из левой руки в правую небольшой сильный револьвер. Блюм был почти спокоен, холодно созерцая риск положения, как в те дни, когда взламывал чужие квартиры. Ему предстояло дело, он жаждал выполнить его тщательнее. И видел совершенно отчетливо одно: свои руки, делающие в неопределенный еще момент бесшумные жуткие усилия.

Он поднял голову, рассчитал, что нижний край окна придется в уровень глаз, и встал, выпрямившись во весь рост. В этот момент рука его приросла к револьверу, дыхание прекратилось. Глаза встретили яркий свет. Блюм привалился к стене грудью, безмолвный, застывший, почти не дышащий. Вместе с ним смотрела, слушая, ночь.

Горели две свечи: одна у окна, на выступе низенького темного шкафа, другая – у противоположной стены, на круглом столе, застланном цветной скатертью. В глубине толстого кожаного дивана, развалившись и обхватив колени руками, сидел Тинг. Огромный звездообразный ковер из меха пумы скрывал пол; в центре этого оригинального украшения,

подпирая руками голову, лежала ничком Ассунта; ее длинные, пушистые волосы, распущенные и немного растрепанные, падали на ковер; из их волнистого маленького шатра выглядывало смеющееся лицо женщины. Она болтала ногами, постукивая одна другую розовыми голыми пятками. В этот момент, когда Блюм увидел все это, Тинг продолжал говорить, с трудом приискивая слова, как человек, боящийся, что его не точно поймут.

– Ассунта, мне хочется, чтобы даже тень огорчения миновала тебя. Долго ли я пробуду в отсутствии? Полгода. Это большой срок, я знаю, но за это время я успею побывать во всех странах. Меня дразнит земля, Ассунта; океаны ее огромны, острова бесчисленны, и масса таинственных, смертельно любопытных углов. Я с детства мечтаю об этом. Буду ли я здоров? Конечно. Я очень вынослив. И я не буду один, нет, – ты будешь со мной и в мыслях, и в сердце моем всегда. – Он вздохнул. – Хотя, я думаю, было бы довольно и пяти месяцев.

– Тинг, – сказала Ассунта, улыбаясь, с маленьким тайным страхом в душе, что Тинг, пожалуй, уедет по-настоящему, – но я тоже хочу с тобой. Разве ты не любишь меня?

Тинг покраснел.

– Ты глупая, – сказал он так, как говорят детям, – разве ты вынесешь? Мне не нужны гостиницы, я не турист, я буду много ходить пешком, ездить. Мне страшно за тебя, Ассунта.

– Я сильная, – гордо возразила Ассунта, осторожно стучая

сжатым кулачком мех ковра, – я, правда, маленького роста и легкая, но все же ты не должен относиться ко мне насмешливо. Я могу ходить с тобой везде и стрелять. Мне будет скучно без тебя, понял? И ты там влюбишься в какую-нибудь... – Она остановилась и посмотрела на него сонными, блестящими глазами. – В какую-нибудь чужую Ассунту.

– Ассунта, – с отчаянием сказал Тинг, подскакивая, как ужаленный, – что ты говоришь! В какую же женщину я могу влюбиться?

– А это должен знать ты. Ты не знаешь?

– Нет.

– А я, Тингушок, совершенно не могу знать. Может быть, в коричневую или посветлей немного. Ну вот, ты хохочешь. Я ведь серьезно говорю, Тинг, – да Тинг же!

Лицо ее приняло сосредоточенное, забавное, сердитое выражение; тотчас же вслед за этим внезапным выражением ревности Ассунта разразилась тихим, сотрясающим все ее маленькое тело, долгим неудержимым смехом.

– Тише ты смейся, – сказала она по частям, так как целиком эта фраза не выговаривалась, разрушаемая хохотом, – ты смейся, впрочем...

Оба хотели сказать что-то еще, встретились одновременно глазами и безнадежно махнули рукой, сраженные новым припадком смеха. Темный, внимательный, смотрел на них из-за окна Блюм.

– Ассунта, – сказал Тинг, успокаиваясь, – правда, мне

слишком тяжело будет без тебя. Я думаю... что... в первый раз... хорошо и три месяца. За это время много можно объехать.

– Нет, Тинг, – Ассунта переместилась в угол дивана, поправив ноги, – слышишь, из-за меня ты не должен лишаться чего бы то ни было. Я избалованная, это так, но есть у меня и воля. Я буду ждать, Тинг. А ты вернешься и расскажешь мне все, что видел, и я буду счастлива за тебя, милый.

Тинг упорно раздумывал.

– Вот что, – заявил он, подымая голову, – мы лучше поедем вместе, когда... у нас будет много денег. Вот это я придумал удачно, сейчас я представил себе все в действительности и... безусловно... то есть расстаться с тобой для меня невозможно. С деньгами мы будем поступать так: ты останавливаешься в какой-нибудь лучшей гостинице, а я буду бродить. Почему раньше мне не приходило этого в голову?

Он щелкнул пальцами, но взгляд его, останавливаясь на жене, еще что-то спрашивал. Ассунта улыбнулась, закрыв глаза; Тинг наклонился и поцеловал ее задумчивым поцелуем, что прибавило ему решительности в намерениях.

– Я без тебя не поеду, – заявил он. – Да.

Лукавое маленькое молчание было ему ответом.

– Совершенно не поеду, Ассунта. А я и ты – вместе. Или не поеду совсем. Денег у нас теперь, кажется... да, так вот как.

Ассунта обтянула юбку вокруг колен, прижимаясь к ним

подбородком.

– Ты ведь умненький, – наставительно сказала она, – и довольно смешной. Нет, ты, право, ничего себе. Бывают ли с тобой, между прочим, такие вещи, что неудержимо хочется сделать что-нибудь без всякого повода? Меня, например, тянет подойти к этому окну и нагнуться.

Блюм инстинктивно присел. Тинг рассеянно посмотрел в окно, отвернулся и спрятал руки Ассунты в своих, где им было так же спокойно, как в гнезде птицам.

– Усни, – сказал он. – Почему мы не спим сегодня так долго? Глухая ночь, а между тем меня не клонит к подушке, и голова ясна, как будто теперь утро. Пожалуй, я поработаю немного.

Блюм переживал странное оцепенение, редкие минуты бесстрастия, глубочайшей уверенности в достижении своей цели, хотя до сих пор все было, по-видимому, против этого. Он не мог прыгнуть в комнату; как произойдет все, не было известно ему, и даже намек на сколько-нибудь отчетливое представление об этом не ощущал он в себе, но благодушно вздыхал, переминаясь с ноги на ногу, и ждал с настойчивостью дикаря, покорившего свое несовершенное тело отточенному борьбе инстинкту. Ручная, послушная ярость спала в нем, он бережно, любовно следил за ней, томился и радовался.

– Ты идешь спать? – сказал Тинг, перебирая пальцы Ассунты. – Ну да, и мне кажется, что ты дремлешь уже.

– Нет. Я выйду и похожу немного. – Ассунта встала, и Тинг заметил, что и капли сна нет в ее блестящих глазах, полных серьезной нежности. – Как душно, Тинг, – мне душно, и я не знаю, отчего это. Мое сердце торопится и стучит, торопится и замирает, как будто говорит, но не может высказать. Мне грустно и весело.

Она закинула руки, потянулась, стремительно обняла Тинга и вышла в темный узкий коридор дома. Некоторое время Блюм не видел и не слышал ее, но вскоре уловил легкий шелест вблизи себя, прислушался и затрепетал. Прежде, чем двинуться на звук шагов, он сунул в карман револьвер, это оружие было теперь ненужным.

Ослепительный, торжественный мрак скрывал землю. Бессонные глаза ночи дышали безмолвием; полное, совершенное, чистое, как ключевая вода, молчание стерегло пустыню, бесконечно затопив мир, уходило к небу и царствовало. В нем, обрызганные созвездиями ночных светил, толпились невидимые деревья; густой цвет их кружил голову тонким, но сильным запахом, щедрым и сладким, волнующим и привольным, влажным и трогательным, как полураскрытые сонные уста женщины; обнимал и тревожил миллионами воздушных прикосновений и так же, как тишина, рос бесконечно властными, неосязательными усилиями, бескрылый и легкий.

Ассунта бессознательно остановилась в глубине сада. Руки ее прильнули к горячему лицу и медленно опустились.

Воздух глубоко наполнял легкие, щекотал самые отдаленные поры их, как шмель, перебирающий мохнатыми лапками в глубине венчика; неутомомно и звонко стучало сердце: немой голос его не то звал куда-то, не то спрашивал. Женщина снова подняла руки, прижимая их к теплой груди, и рассмееялась беспричинным, беззвучным смехом. Недолго простояла она, но уже показалось ей, что нет ни дома, ни земли под ногами, что бесконечна приветная пустота вокруг, а она, Ассунта, стала маленькой, меньше мизинца, и беззащитной, и от этого весело. Неслышный призрачный звон ночи пришел к ней из бархатных глубин мрака, звон маленьких колокольчиков, пение земли, игра микроскопических цитр, взволнованная жизнь крови. Звон шел к ней, разбиваясь волнами у ее ног; неподвижная, улыбающаяся всем телом, чем-то растроганная, благодарная неизвестному, Ассунта испытывала желание стоять так всегда, вечно, и дышать и трогать маленькое свое сердце – оно ли это стучит? Оно влажное, теплое; она и сердце – и никого больше.

Блюм скорее угадал ее, чем увидел; соображая в то же время расстояние до оставленной позади лошади, он тихо подвигался вперед. Правая рука его торопливо что-то нащупывала в кармане; Блюм сделал еще несколько шагов и почувствовал, что Ассунта совсем близко, против него. Он глубоко вздохнул, сосредоточился и холодно рассчитал время.

– Это ты, Тинг? – задумчиво сказала Ассунта. – Это пришел ты. Я успокоилась, и мне хорошо. Иди, я сейчас вернусь.

Запах непролитой еще крови бросился Блюму в голову и потряс его.

– Тинг, – проговорил он наполовину трепетным движением губ, наполовину звуком, мало напоминающим человеческий голос. – Не придет Тинг.

Глухая боль внезапного страха женщины мгновенно передалась ему, он оттолкнул боль и занес руку.

– Кто это? – медленно, изменившимся голосом спросила Ассунта. Она отступила, инстинктивно закрывая себя рукой. – Вы, Гергес? И вы не спите. Нет, мне просто послышалось. Кто здесь?

– Это ваша рука, Ассунта, – сказал Блюм, сжимая тонкую руку ее уверенными холодными пальцами. – Ваша белая рука. А это – это рука Гергеса.

Он с силой дернул к себе молодую женщину, ударив ее в тот же момент небольшим острым ножом – удар, рассчитанный по голосу жертвы – правее и ниже. Слух его смутно, как во сне, запомнил глухой крик, остальное исчезло, смертельный гул крови, отхлынувшей к сердцу, обдал Блюма горячим паром тревоги. Через минуту он был в седле, и головокружительная, сумасшедшая скачка показалась ему в первый момент движением черепахи.

Взмах, удар, крик раненой мелькнули далеким сном. Он мчался по дороге в Суан, изредка волнуемый страхом быть пойманным, прежде чем достигнет города. Конвульсивное обсуждение сделанного странно походило на галоп лошади;

мысли, вспыхивая, топтали друг друга в беспорядочном вихре. Сознание, что не было настоящей выдержки и терпения, терзало его. «Ничего больше не оставалось», – твердил он. Лошадь, избитая каблуками, вздрагивала и бросалась вперед, но все еще оставалось впечатление, будто он топчется на одном месте. Иногда Блюм овладевал собой, но вспоминал тут же, что прошло десять – пятнадцать минут, не более, с тех пор, как скачет он в темноте пустыни; тогда этот промежуток времени то увеличивался до размеров столетия, то исчезал вовсе. По временам он ругался, ободряя себя; попробовал засмеяться и смолк, затем разразился проклятиями. Смех его походил на размышление; проклятия – на разговор со страхом. Неосиленная еще часть дороги представлялась чем-то вроде резинового каната, который невозможно смотать, потому что он упорно растягивается. Зудливая физическая тоска душила за горло.

Наконец Блюм остановил лошадь, прислушиваясь к окрестностям. Отдуваясь, обернувшись лицом назад, он слушал до боли в ушах. Было тихо; тишина казалась враждебной. Пустив лошадь шагом, он через несколько минут остановил ее, но одинокое, хриплое дыхание загнанного животного не подарило Блюму даже капли уверенности в своей безопасности; он прислушался в третий раз и, весь всколыхнувшись, ударил лошадь ручкой револьвера; сзади отчетливо, торопливо и тихо неся дробный, затерянный в тишине, уверенный стук копыт.

VI. Тинг догоняет Блюма

Тинг выбежал на крик с глухо занывшим сердцем. За минуту перед этим он был совершенно спокоен и теперь весь дрожал от невыразимой тревоги, стараясь сообразить, что произошло за окном. Тьма встретила его напряженным молчанием.

– Ассунта, – громко позвал он и, немного погодя, крикнул опять: – Ассунта!

Собственный его голос одиноко вспыхнул и замер. Тогда, не помня себя, он бросился в глубину сада, обежал его в разных направлениях с быстротой лани и остановился: глухой внутренний толчок приковал внимание Тинга к чему-то смутно белеющему у его ног.

Он наклонился и первым прикосновением рук узнал Ассунту. Теплое, неподвижное тело ее, вытянувшись, повисло в его объятиях с тяжелой гибкостью неостывшего трупа.

– А-а, – болезненно сказал Тинг.

Глухое, невероятное страдание уничтожало его с быстротой огня, съедающего солому. Это было помешательство мгновения, тоска и страх. Он не понимал ничего; растерянный, готовый закричать от ужаса, Тинг тщетно пытался удержать внезапную дрожь ног. Бережно приподняв Ассунту, он двинулся по направлению к дому, шатаясь и вскрикивая. Действительность этого момента по всей своей силе пере-

живалась им, как сплошной кошмар; жизнь сосредоточилась и замерла в одном ощущении дорогой тяжести. Он не помнил, как внес Ассунту, как положил ее на ковер, как очутился стоящим на коленях, что говорил. По временам он встряхивал головой, пытаясь проснуться. Побледневшее, с плотно сомкнутыми губами и веками лицо жены таинственно и безмолвно говорило о неизвестном Тингу, только что пережитом ужасе. Он взял маленькую, бессильную руку и нежно поцеловал ее; это движение разрушило столбняк души, наполнив ее горем. Быстро расстегнув платье Ассунты, пропитанное кровью с левой стороны, под мышкою, Тинг разрезал рукав и осмотрел рану.

Нож Блюма рассек верхнюю часть левой груди и смежную с ней внутреннюю поверхность руки под самым плечом. Из этих двух ран медленно выступала кровь: сердце едва билось, но слабый, обморочный шепот его показался Тингу небесной музыкой и разом вернул самообладание. Он разорвал простыню, обмыл раненую грудь Ассунты спиртом и сделал плотную перевязку. Все это время, пока дрожащие пальцы его касались нежной белизны тела, изувеченного ножом, он испытывал бешеную ненасытную нежность к этой маленькой, обнаженной груди, – нежность, сменяющуюся взрывами ярости, и страдание. Скрепив бинт, Тинг поцеловал его в проступающее на нем розовое пятно. Почти обесиленный, приник он к закрытым глазам Ассунты, целуя их с бессвязными, трогательными мольбами посмотреть на него,

вздоргнуть, пошевелить ресницами. Все лицо его было в слезах, он не замечал этого.

То, что произошло потом, было так неожиданно, что Тинг растерялся. Веки Ассунты дрогнули, приподнялись; жизнь теплилась под ними в затуманенной глубине глаз, – возврат к сознанию, и Тинг водил над ними рукой, самый воздух, окутывающий ресницы. Теперь, в первый раз, он почувствовал со всей силой, какие это милые ресницы.

– Ассунта, – шепнул он.

Губы ее разжались, дрогнув в ответ движением, одновременно похожим на тень улыбки и на желание произнести слово.

– Ассунта, – продолжал Тинг, – кто ударил тебя? Это не опасно... Кто обидел тебя, Ассунта?.. Говори же, говори, у меня все мешается в голове. Кто?

Глубокий вздох женщины потонул в его резком, похожем на рыдание смехе. Это был судорожный, конвульсивный смех человека, потрясенного облегчением; он смолк так же внезапно, как и начался. Тинг встал.

– Ты здесь? – Это были первые ее слова, и он внимал им, как приговоренный к смерти – прощению. – За что он меня, Тинг, милый?.. Гергес... Сначала он взял меня за руку... Это был Гергес.

Она не произнесла ничего больше, но почувствовала, что ее с быстротой молнии кладут на диван и что Тинг исчез. Еще слабая, Ассунта с трудом повернула голову. Комната

была пуста, полна тоски и тревоги.

– Тинг, – позвала Ассунта.

Но его не было. Перед ним в кухне стоял разбуженный негр и кланялся, порываясь бежать.

– Как собака! – хрипло сказал Тинг. – Возьми револьвер. – Он топнул ногой; волна гнева заливала его и несла, в стремительном своем беге, в темной пучине инстинкта. – Беги же, – продолжал Тинг. – Стой! Ты понял? Будь собакой и сдохни, если это понадобится. Я догоню, я догоню. Пожелай мне счастливой охоты.

Он подбежал к сараю, вывел гнедую лошадь, одну из лучших во всем округе, взнуздal ее и поскакал к Суану. Все это время душа Тинга перемалывала тысячи вопросов, но ни на один не получил он ответа, потому что еще далеко был от него тот, кто сам, подобно ножу, холодно и покорно скользнул по красоте жизни.

Задыхающийся, привстав на стременах, Блюм бил лошадь кулаками и дулом револьвера. Другая лошадь скакала за его спиной; пространство, выигранное вначале Блюмом, сокращалось в течение получаса с неуклонностью самого времени и теперь равнялось нулю. Лязг подков наполнял ночную равнину призраками тысяч коней, взбешенных головокругительной быстротой скачки. Секунды казались вечностью.

– Постойте! Остановитесь!

Блюм обернулся, хриплый голос Тинга подал ему надежду уложить преследователя. Он поворотился, методически вы-

пускающая прыгающей от скачки рукой все шесть пуль; огонь выстрелов безнадежно мелькал перед его глазами. Снова раздался крик, но Блюм не разобрал слов. Тотчас же вслед за этим гулкий удар сзади пробил воздух; лошадь Блюма, заржав, дрогнула задними ногами, присела и бросилась влево, спотыкаясь в кустарниках. Через минуту Блюм съехал на правый бок, ухватился за гриву и понял, что валится. Падая, он успел отскочить в сторону, ударился плечом о землю, вскочил и выпрямился, пошатываясь на ослабевших ногах; лошадь хрипела.

Тинг, не удержавшись, заскакал справа, остановился и был на земле раньше, чем Блюм бросился на него. Две темные фигуры стояли друг против друга. Карабин Тинга, направленный в голову Блюма, соединял их. Блюм широко и глубоко вздыхал, руки его, поднятые для удара, опустились с медленностью тройного блока.

– Это вы, Гергес? – сказал Тинг. Деланное спокойствие его тона звучало мучительной, беспощадной ясностью и отчетливостью каждого слова. – Хорошо, если вы не будете шевелиться. Нам надо поговорить. Сядьте.

Блюм затрепетал, изогнулся и сел. Наступил момент, когда не могло быть уже ничего странного, смешного или оскорбительного. Если бы Тинг приказал опуститься на четвереньки, и это было бы исполнено, так как в руках стоящего была смерть.

– Я буду судить вас, – быстро произнес Тинг. – Вы – мой.

Говорите.

– Говорить? – спросил Блюм совершенно таким же, как и охотник, отчетливым, тихим голосом. – А что? В конце концов я неразговорчив. Судить? Бросьте. Вы не судья. Что вы хотите? Нажмите спуск, и делу конец. Убить вы можете меня, и с треском.

– Гергес, – сказал Тинг, – значит, конец. Вы об этом подумали?

– Да, я сообразил это. – Самообладание постепенно возвращалось к Блюму, наполняя горло его сухим смехом. – Но что же, я хорошо сделал дело.

Палец Тинга, лежавший на спуске курка, дрогнул и разжался. Тинг опустил ружье, – он боялся нового, внезапного искушения.

– Вы видите, – продолжал Блюм, оскаливаясь, – я человек прямой. Откровенность за откровенность. Вы грозитесь меня убить, и так как я влез к вам в душу, вы можете и исполнить это. Поэтому выслушайте меня.

– Я слушаю.

– «Ассунта, – кривляясь, закричал Блюм. – О, ты, бедное дитя». Вы, конечно, произносили эти слова; приятно. Очень приятно. Она милая и маленькая. Вы мне противны. Почему я мог думать, что вы не спите еще? Вам тоже досталось бы на орехи. План мой был несколько грандиознее и не удался, черт с ним! Но верите ли, это тяжело. Я это поставлю в счет кому-нибудь другому. Хотя, конечно, я нанес вам хороший

удар. Мне сладко.

– Дальше, – сказал Тинг.

– Во-первых, я вас не боюсь. Я – преступник, но я под защитой закона. Вы ответите за мою смерть. Вероятно, вы гордитесь тем, что разговариваете со мной. Не в этом дело. У меня столько припасено гостинцев, что глаза разбегаются. Я выложу их, не беспокойтесь. Если вы прострелите мне башку, то будете по крайней мере оплеваны. Если бы я убил вас раньше ее... то... впрочем, вы понимаете.

– Я ничего не понимаю, Гергес, – холодно сказал Тинг, – мне противно слушать вас, но, может быть, этот ваш бред даст мне по крайней мере намек на понимание. Я не перебую вас. Я слушаю.

– Овладеть женщиной, – захлебываясь и торопясь, продолжал Блюм, как будто опасался, что ему выбьют зубы на полуслове, – овладеть женщиной, когда она сопротивляется, кричит и плачет... Нужно держать за горло. После столь тонкого наслаждения я убил бы ее тут же и, может быть, привел бы сам в порядок ее костюм. Отчего вы дрожите? Погода ведь теплая. Я не влюблен, нет, а так, чтобы погуще было. У нее, должно быть, нежная кожа. А может быть, она бы еще благодарила меня.

Раз сорвавшись, он не удерживался. В две-три минуты целый поток грязи вылился на Тинга, осквернил его и наполнил самого Блюма веселой злобой отчаяния, граничащего с исступлением.

– Дальше, – с трудом проговорил Тинг, раскачиваясь, чтобы не выдать себя. Дрожь рук мешала ему быть наготове, он сильно встряхнул головой и ударил прикладом в землю. – Говорите, я не перебью вас.

– Сказано уже. Но я посмотрел бы, как вы припадете к трупу и прольете слезу. Но вы ведь мужчина, сдержитесь, вот в чем беда. В здешнем климате разложение начинается быстро.

– Она жива, – сказал Тинг, – Гергес, она жива.

– Ложь.

– Она жива.

– Вы хотите меня помучить. Вы врете.

– Она жива.

– Прицел был хорош. Тинг, что вы делаете со мной?

– Она жива.

– Вы помешались.

– Она жива, говорю я. Зачем вы сделали это?

– Тинг, – закричал Блюм, – как смеете вы спрашивать меня об этом! Что вы – ребенок? Две ямы есть: а одной барахтаетесь вы, в другой – я. Маленькая, очень маленькая мечь, Тинг, за то, что вы в другой яме.

– Сон, – медленно сказал Тинг, – дикий сон.

Наступило молчание. Издыхающая лошадь Блюма забила передними ногами, приподнялась и, болезненно заржав, повалилась в траву.

– Ответьте мне, – проговорил Тинг, – поклянетесь ли вы,

если я отпущу вас, спрятать свое жало?

Блюм вздрогнул.

– Я убью вас через несколько дней, если вы это сделаете, – сказал он деловым тоном. – И именно потому, что я говорю так, вы, Тинг, освободите меня. Убивать безоружного не в вашей натуре.

– Вот, – продолжал Тинг, как бы не слушая, – второй раз я спрашиваю вас, Гергес, что сделаете вы в этом случае?

– Я убью вас, милашка. – Блюм ободрился, сравнительная продолжительность разговора внушала уверенность, что человек, замахивающийся несколько раз, не ударит. – Да.

– Вы уверены в этом?

– Да. Разрешите мне убить вас через неделю. Я выслежу вас, и вы не будете мучиться. Вы заслужили это.

– Тогда, – спокойно произнес Тинг, – я должен предупредить вас. Это говорю я.

Он вскинул ружье и прицелился. Острые глаза его хорошо различали фигуру Блюма; вначале Тинг выбрал голову, но мысль прикоснуться к лицу этого человека даже пулей была ему невыразимо противна. Он перевел дуло на грудь Блюма и остановился, соображая положение сердца.

– Я пошутил, – глухо сказал Блюм. Холодный, липкий пот ужаса выступил на его лице, движение ружья Тинга было невыносимо, оглушительно, невероятно, как страшный сон. Предсмертная тоска перехватила дыхание, мгновенно убив все, кроме мысли, созерцающей смерть. Его тошнило, он ша-

тался и вскрикивал, бессильный переступить с ноги на ногу.

– Я пошутил. Я сошел с ума. Я не знаю. Остановитесь.

И вдруг быстрый, как молния, острый толчок сердца сказал ему, что вот это мгновение – последнее. Пораженный, Тинг удержал выстрел: глухой, рыдающий визг бился в груди Блюма, сметая тишину ночи.

– А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! – кричал Блюм. Он стоял, трясся и топал ногами, ужас душил его.

Тинг выстрелил. Перед ним на расстоянии четырех шагов зашаталась безобразная, воющая и визжащая фигура, перевернулась, взмахивая руками, согнулась и сунулась темным комком в траву.

Было два, остался один. Один этот подозвал лошадь, выбросил из ствола горячий патрон, сел в седло и уехал, не оглянувшись, потому что мертвый безвреден и потому что в пустыне есть звери и птицы, умеющие похоронить труп.

VII. Самая маленькая

– Тинг, ты не пишешь дней двадцать?

– Да, Ассунта.

– Почему? Я здорова, и это было, мне кажется, давно-давно.

Тинг улыбнулся.

– Ассунта, – сказал он, подходя к окну, где на подоконнике, подобрав ноги, сидела его жена, – оставь это. Я буду писать. Я все думаю.

– О нем?

– Да.

– Ты жалеешь?

– Нет. Я хочу понять. И когда пойму, буду спокоен, весел и тверд, как раньше.

Она взяла его руку, раскачивая ее из стороны в сторону, и засмеялась.

– Но ты обещал написать для меня стихи, Тинг.

– Да.

– О чем же? О чем?

– О тебе. Разве есть у меня что-либо больше тебя, Ассунта?

– Верно, – сказала маленькая женщина. – Ты прав. Это для меня радость.

– Ты сама – радость. Ты вся – радость. Моя.

– Какая радость, Тинг? Огромная, больше жизни?

– Грозная. – Тинг посмотрел в окно; там, над провалом земной коры, струился и таял воздух, обожженный полуднем. – Грозная радость, Ассунта. Я не хочу другой радости.

– Хорошо, – весело сказала Ассунта. – Тогда отчего никто меня не боится? Ты сделай так, Тингушок, чтобы боялись меня.

– Грозная, – повторил Тинг. – Иного слова нет и не может быть на земле.